

---

СЕРГЕЙ КЛЮЧНИКОВ

## “ВМЕСТО ТЕЛА — СТРАНА, ВМЕСТО СЕРДЦА — СТРУНА...”

*(Воспоминания о Николае Шипилове)*

Я не был близким другом Николая Шипилова — наши отношения можно назвать скорее приятельскими. Однако в середине 80-х в течение полутора лет мы общались с Колей очень тесно, практически ежедневно. С первого же момента знакомства Николай был мне невероятно интересен — и как глубокая, внутренне очень свободная личность, и как большой силы художник. Интересен был он мне и в силу моей профессии: это был один из самых ярких и талантливых людей, встреченных мною в жизни, и каждая встреча с ним давала мне пищу для ума как психологу, специализирующемуся на изучении скрытых ресурсов психики, творческих состояний, трансперсонального опыта. Мы подолгу разговаривали, и я с огромным удовольствием слушал его рассказы о своей жизни.

Анализируя сам факт нашего знакомства с Колей, я вполне могу допустить, что оно могло бы не и состояться. Мы жили с ним в одном городе, но, как говорится, вращались в разных кругах. У меня был дом и стабильное положение в обществе, у него этого не было. Я занимался психологией, он — литературой. Я вел относительно спокойный и размеренный образ жизни, он, в силу отсутствия своего жилья — бурный и хаотичный. Общие знакомые, конечно, были — но, в общем, не так уж много...

С того момента, как я заинтересовался шипиловскими песнями и стал искать их автора, мой путь к личному знакомству с Колей длился около двух лет. Ощущение было, что я пытаюсь ухватить хвост кометы со сложной траекторией полета. Вроде вот она — рядом, но в последний момент всегда пронесится мимо (тут я невольно вспомнил строки Колиной песни о себе: “Как родственник комете, как младший брат огня”). К тому же сама эта комета имела два лица, две ипостаси: что называется, “социальный образ”, порожденный сплетнями и слухами, и живая Колина личность, при ближайшем рассмотрении сильно отличающаяся от него.

Однако все по порядку.

### Первые слухи

Впервые о Шипилове я услышал от одного малоизвестного новосибирского поэта и барда Александра П-ва. Человек специфический, глумливый и циничный, он так охарактеризовал личность Николая: “Это парень очень талантливый и очень темный. Он гораздо талантливее меня в своих лучших песнях — например, таких, как “Дурак и дурнушка”. Я, заинтригованный такой оценкой, попросил Александра спеть какую-нибудь песню этого автора. И тот захватски сбацал:

*Эх, драками  
Да за бараками  
Отметим, братья, Первомай!  
Пей, Кузьма,  
Да Ваську бей, Кузьма,  
Да не робей, Кузьма,  
Спинжак съмай!*

Куплет вызвал у меня в сознании образ эдакого гуляки, драчуна и творца блатной песенной лирики в духе раннего Высоцкого. На мой вопрос, в чем проявляется “темнота” Шипилова, П-в предположил: мол, “кто-то его сильно испортил”. Впоследствии мы с Колей и моей сестрой Мариной долго смеялись над этой оценкой, настолько она оказалась дурацкой. Шипилов был очень самостоятельным и творчески самодостаточным человеком. Повлиять на него было очень трудно – как правило, влиял он сам. Как я понял позднее, оценка Коли, выданная П-вым, характеризовала скорее его самого.

В 1983 году я познакомился с неким Сергеем Зубаревым, человеком неопределенных занятий, который представился близким другом Шипилова. Он пересказал и даже напел мне и моей сестре несколько песен Николая. Они заинтересовали нас – и как сильная песенная лирика, и в музыкальном отношении. Зубарев готов был без усталости рассказывать многочисленные истории из бурной жизни Шипилова и, казалось, был покорен обаянием его личности и творчества. Он даже с гордостью поведал, что некоторые строчки шипиловских песен посвящены ему. Например, герои “Пехотурушки” – Иван, Сергей да Николай – это, по версии Зубарева, Иван Овчинников (ближайший друг Коли), он – Сергей Зубарев, и сам Коля. Впоследствии Коля был весьма удивлен этой версией (в отношении “Сергея”), и категорически опроверг ее. Таких историй было немало. Каких только легенд я о Шипилове не наслушался! Общий контур их был таков: беспаспортный бродяга, гусар и дамский любимец, бесстрашный драчун и авантюрист, бросающий вызов судьбе, всеобщий друг, имеющий по всему Советскому Союзу тысячи поклонников и поклонниц. . . Все эти слухи имели под собой некоторую почву, но в целом все это было раздуто, гиперболизировано или было второстепенными проявлениями Колиной личности, заслоняющими главное.

Много шуму наделала в Новосибирске история с выездным литературным совещанием группы московских писателей, поэтов и критиков. На нем как раз и состоялось открытие шипиловского таланта: повесть “Литконсультант” была высоко оценена, напечатана в журнале “Литературная учеба” и сразу принесла ему всесоюзную известность.

А летом 1983 года до нас дошла печальная новость: Зубарев рассказал нам, что у Николая утонула жена, Ольга Поплавская, что он тяжелейшим образом пережил ее смерть и теперь лежит в больнице с сердечным приступом. Впоследствии Николай посвятил погибшей жене множество замечательных песен.

Однако слушать песни барда в чужом воспроизведении, тем более, если воспроизводит человек без слуха и голоса – занятие неблагоприятное. Захотелось услышать их если не вживую, то хотя бы в записи. И вот такая возможность представилась – у моего тогдашнего приятеля Миши Кротова появилась кассета шипиловских записей. Низкий грудной голос пел “Собаку барина Путилова”, “Ваньку Жукова”, “В этом тихом коридоре”, “Фортуна-фортуна”. Я отметил для себя их силу и лирическое изящество, и мне снова очень захотелось увидеть и послушать их автора вживую. Поэтому, когда до меня дошел слух, что этот трудноуловимый Шипилов будет на какой-то вечеринке в новосибирском Доме актеров, помню, что я поехал туда с большим удовольствием.

### Знакомство в Доме актеров

В Доме актеров собрался почти весь тогдашний наш творческий полубомонд, полу-андеграунд. Почти сразу я заметил друга Шипилова, Ваню Овчинникова, с которым незадолго до этого мы шапочно познакомились. Естественно, я воспользовался ситуацией и попросил Ивана, уже крепко принявшего на

грудь, познакомить меня с Николаем. Артистичный Ваня с характерной для него наигранной важностью попросил меня подождать. Я не знал, как Шипилов выглядит, но немного представлял его себе по рассказам, потому сразу выделил для себя среди множества гостей невысокого темноволосого человека с лихими усами и пронзительным взглядом. “Наверное, и есть знаменитый бард Шипилов”, — подумал я. Действительно, после того как Ваня Овчинников пару минут пошептался с ним, Шипилов с “рюмкой чая” в руках сам подошел ко мне, представился и своей характерной скороговорочкой сказал: “Сергея Зубарев давно уже мне говорил, что какой-то парень хочет со мной познакомиться”. Мы чокнулись, выпили, и я сказал ему, что мне очень хочется послушать его песни живьем. Коля был не против, тем более выяснилось, что мы — почти соседи: он снимает квартиру недалеко от нашего дома. Затем разговор перекинулся на его успехи в новосибирском литсеминаре. Он сразу уточнил, что делом жизни считает свою прозу, а песни — это так, “для души”.

Какое-то время банкет продолжался, и я уже пересел к Шипилову и Овчинникову за один стол. Я обратил внимание, что хотя Коле периодически приходилось чокаться с разными людьми, он, в отличие от быстро захмелевшего Ивана, был трезв и практически не пьянел. Когда мы ночью втроем поехали к Коле на квартиру и стали ловить такси, то эксцентричный Иван так шумел и буянил, что вскоре около нас остановилась милицейская машина, и двое сотрудников потребовали у нас документы. Иван мгновенно присмирел, а Николай вытянулся в струнку и вообще как-то слился со стеной. Впоследствии я не раз наблюдал подобную реакцию Шипилова при появлении милиции. Причина ее стала мне понятна, когда я узнал, что Николай в течение многих лет не имел паспорта. Документы оказались только у меня. Но мои слова, что это известные писатели, возвращающиеся из Дома актеров после банкета, возымели действие — нас оставили в покое.

Квартира, снимаемая Николаем, оказалась “лежбищем” вольного холостяка — пустой холодильник, стол и тумбочка, заваленные рукописями, что называется, творческий беспорядок. . . Мы еще посидели, поговорили, а потом быстро уснули. Засыпая, я подумал, что пока не составил какого-то особого впечатления о Николае, кроме того, что он оказался открытым, естественным и легким в общении человеком.

Утром, на трезвую голову, я увидел совсем другого Колю. Передо мной был веселый, заводной, артистичный, необычайно остроумный человек. Каламбуры, шутки, игра в словечки — все это из него просто фонтанировало. Он все время подтрунивал над Иваном, который, впрочем, тоже за словом в карман не лез. Но, увы, в доме не было гитары — Коля оставил ее где-то в Академгородке. Я предложил пойти к нам домой (у меня была гитара) — мне очень хотелось, наконец, послушать Колины песни. К тому же, когда я прочел друзьям на память несколько стихотворений моего отца — поэта Юрия Ключникова, те отреагировали с большим одобрением и, в свою очередь, захотели с ним познакомиться.

Коля с Ваней пробыли у нас до глубокой ночи. На всю нашу семью песни Николая произвели очень сильное впечатление. Он начал с одной из последних — “Воспоминаний долгих век. . .”, посвященной погибшей жене. Я был сразу покорен: великолепный низкий голос, высокая техника игры, изящество и сила слога и, главное — особая пронзительная шипиловская искренность. . . Тогда он спел все свои “коронки” — “Ваньку Жукова”, “Дурака и дурнушку”, “Ты не права”, “Шикотан”, “Огни барачные” и, конечно, “После бала”.

— Какое твое мнение о Николае? — спросил я отца на следующий день после знакомства.

— Светлейший мужик! — ответил отец.

### Начало дружбы

Почти сразу Шипилов очень подружился с моей сестрой Мариной, журналисткой одной из новосибирских газет, и стал бывать у нас дома практически ежедневно. В наш дом потек за ним бесконечный круг его друзей и знакомых. Николай был знаком практически со всей творческой средой Новосибирска, да и не только творческой. Среди его друзей были писатели, поэты, журна-

листы, художники, актеры, ученые, музыканты, военные, спортсмены и люди самых экзотических профессий – к примеру, патологоанатомы. Через нашу квартиру прошли десятки, если не сотни, новых знакомых – его друзей и подруг. И, надо признаться, наши родители быстро устали от этого нового ритма жизни...

Мы оказались в сложной ситуации. С одной стороны, хотелось поддержать талантливого, бездомного и неприкаянного человека, дать ему возможность сесть, наконец, за письменный стол. С другой – пьянящий воздух непрерывного праздника, всегда окружавший Шипилова, действовал на нас столь сильно, что мы и сами нередко становились инициаторами веселых застолий. Коля радостно поддерживал наши инициативы, знакомил нас со всеми новыми друзьями, приезжавшими повидаться с ним со всех концов страны. Каждая встреча превращалась в потрясающий домашний концерт. Сколько людей уходило покоренными волшебным пением “божией птицы”, как позднее назвала Шипилова поэтесса Валентина Невинная! Какое-то электрическое поле всеобщего обожания, окружавшее тогда Николая, я помню и ощущаю до сих пор.

Мне неоднократно приходилось наблюдать, как люди самых разных эстетических предпочтений с одинаковым восторгом воспринимали песни Шипилова. Помню, как мой товарищ, новосибирский искусствовед Володя Назанский – эстет и блестяще образованный человек, впервые послушав у нас на кухне Колины песни, восхищенно выдохнул: “Я пережил экстазис!” Помню, Коля что-то говорил о поэзии обэриутов, о Хармсе, Вагинове, и Назанский очень высоко оценил широту литературных взглядов Николая, отметив в то же время не книжный характер его песенной эстетики: “Он глубоко знает жизнь!” Помню также, что Колины песни произвели большое впечатление и на другого блестящего эстета, профессора филологии, специалиста по творчеству Высоцкого Юрия Владимировича Шатина. Особенно он умилился вторым шуточным финалом шипиловского хита “После бала”:

*Никого не пощадила эта осень,  
Даже дворница, что листья в рай сгребала,  
Поскользнулась, захромала,  
Видно, ногу поломала —  
Так кончаются романы после бала...*

### Колины убеждения и религиозные искания

В те года Николай казался нам с сестрой полностью сложившимся человеком, настолько битым и закаленным жизнью, что повлиять на его взгляды было очень непросто. К этому времени сформировались и его жизненная философия, и политические взгляды, и творческие принципы. В споре между славянофилами и западниками он был, конечно, на стороне первых. Помню, на вопрос: кто ему ближе – евразиец Лев Гумилев или русский патриот Владимир Чивилихин, он без колебаний выделил второго. В то же время острый ум, здравый смысл и великолепное чувство юмора не позволяли ему отождествлять себя с зарождавшимся тогда националистическим движением, которое позже оформилось в движение общества “Память”. Еще в большей степени критичен он был в своих художественных пристрастиях. В этом отношении он был весьма взыскателен, я бы сказал – аристократичен. Не любил прямолинейной пропаганды, декларации идей ни в жизни, ни в творчестве.

Художественный вкус у Коли был врожденным, и все же в юности немало влияние на формирование шипиловской поэтики с ее бесподобной игрой слов, свежестью метафор, внутренними рифмами оказали такие своеобразные поэты, как “поэт-дворник” Иван Овчинников и (до некоторой степени) “поэт-грузчик” Анатолий Маковский. Молодость Коли прошла в тесном общении с кругом авторов из литобъединения Ильи Фонякова 60–70-х годов, позже названным “Гнездом поэтов”. Помимо Овчинникова и Маковского, в этот круг входила целая плеяда талантливых сибирских писателей: Петр Степанов, Александр Денисенко, Валерий Малышев, Нина Грехова, Жанна Зырянова, Нина Садур, Петр Кошель. Эта творческая школа, где кипели жаркие литературные споры и слагались основы новой поэтики – неприятие “красивости”, “литературности” текста, ориентация на разговорную речь, особый “старо-

русский” синтаксис, – по признанию Коли, была очень важной для него. Она помогла ему соединить народность главной темы с аристократической простотой и изяществом формы.

За аристократизм вкуса Шипилову порой приходилось платить весьма высокую цену. В середине 80-х Коля однажды привез из Москвы в Новосибирск целый чемодан книг Набокова. Он поместил драгоценный багаж в камеру хранения в Академгородке, и тот был немедленно конфискован бдительными кагэбэшниками, которые не могли допустить такого вольнодумия. Шипилова вызвали куда следует и долго пропесочивали. Рассказывая нам об этом событии по горячим следам, Николай сообщил, что ему там показали большую папку, посвященную мне и моей идеологической неблагонадежности: “Имей в виду, Серега – на тебя там целое дело сшито!” Помню пронзившее меня тогда чувство благодарности к нему – ведь наверняка с него там брали слово, а может быть, и подписку о неразглашении.

Был ли Николай диссидентом? Нет. Хотя имел полное право, тем более что власть давала кучу поводов не любить ее. Речь идет, прежде всего, о местной новосибирской власти – обкоме и Союзе писателей. Однако ни разу я не встречал у него ноток ненависти или желания мстить. Была обида, досада, может быть, раздражение. Конечно, он осознавал масштаб своего таланта, но принципиально не хотел суетиться и лезть наверх, да и к тому же не умел это делать. Он ощущал себя, как и сам определил, скорее эмигрантом в своей стране. Причем эмигрантом не столько добровольным, сколько вынужденным, а еще точнее – нелегалом. Человек, не умеющий подолгу обижаться, он не обижался и на режим, хотя, конечно, свой “зуб” и критический взгляд имел. Особенно ему не нравилось вранье в газетах и равнодушие властей к проблемам и бедам простого человека. Поэтому очень странно слышать сегодня периодически раздающиеся с разных сторон упреки в “просоветскости” шипиловского творчества. Любой мало-мальски знакомый с ним человек просто посмеется над любыми попытками сделать из вольного художника-бродяги идеологизированное существо, умиляющееся советскими идеалами. Достаточно вспомнить такие песни, как “Отец, ты воевал на Сахалине...”, или “Говорят, что на БАМе у вас...” (“Песня о вранье”), чтобы раз и навсегда закрыть тему шипиловского советизма. Единственное сообщество, которому он внутренне принадлежал – это русская патриотическая интеллигенция, идет ли речь о политических взглядах или художественных вкусах.

Показательным в этом вопросе было отношение Шипилова к Высоцкому. Я уверен, что когда Николай определял свое место в пространстве авторской песни, он отталкивался от фигуры Высоцкого. “Не от Окуджавы же он должен был отталкиваться”, – справедливо сказал мне один приятель, знавший Шипилова много лет. Действительно, не от Окуджавы, оказавшегося в 1993 году с Николаем – защитником Дома Советов – по разные стороны баррикад.

Отталкивание было не фигуральным, а буквальным. Признавая могучий талант Высоцкого, Коля был против превращения его в кумира, в образец для подражания. “Высоцкий – очень талантливый человек, и я отношусь к нему с уважением, – говорил нам Николай, – все мои претензии к нему касаются его позиции. Он идеализирует криминал, поет “блатную тему” – я считаю это творческой безответственностью”. Как я понял тогда, Коля, выросший в карьере Мочище с его полууголовной атмосферой, хорошо знавший и потому ненавидевший блатоту, воспринимал эти темы Высоцкого как игру, как нездоровую блажь интеллигента, не нюхавшего “настоящего шухера”. Внутренней полемикой с уже поздним Высоцким, как мне кажется, наполнена и одна из последних песен Коли с тем же названием, что и у Владимира Семеновича, – “Кони”. Только если привередливые кони Высоцкого несут его в бездну, то небесные кони Шипилова несут всю Россию и каждого из нас на Божий Суд.

Тогда, в середине 80-х, мы много спорили с Колей на религиозные темы, по вопросам веры и внутренней работы. Патриот и убежденный народник, он принципиально не желал отрываться от судьбы своего народа, сколь бы тяжелой она ни была. Именно по этой причине Николай так всерьез и не заинтересовался эзотерической философией, которой мы тогда были очень увлечены. Я давал ему тогда читать немало разных книг по йоге, медитации, биоэнергетике – и не могу сказать, что они его очень вдохновили. Он говорил, что картины Рериха ему нравятся, но, что касается перспективы жить по учению Живой этики – к этому он пока не готов. Помню его слова: “Если это

учение хорошее, то я ничего не имею против, но, во-первых, я – русский, а значит, православный (хотя в те времена он был еще очень далек от церкви. – **С. К.**), а во-вторых, я хочу прожить свою жизнь как любой простой человек, в образе жизни не отрываясь от своих”. Однако все же некоторые сдвиги в его сознании в тот период произошли...

В нашей семье сохранилось немало материалов, оставленных Колей после его отъезда – письма, стихи, тексты песен, куски прозы, рисунки. Сохранились и его дневниковые записи того периода. Они показывают, что под влиянием наших семейных дискуссий и прочитанных книг по эзотерике и восточной философии он всерьез пытался работать над собой – и в духовном, и в психологическом смысле, в деле изучения себя и сознательного обуздания страстей. Помнится, мы много говорили тогда о молитве, о йогической практике самонаблюдения, позволяющей взглянуть на себя и все свои “внутренние бездны” со стороны, целостно увидеть свой внутренний образ и исправить в себе то, что искажает нашу божественную природу. Колю, как художника и ищущего человека, самонаблюдение очень интересовало, и, оказывается, он всерьез думал на эту тему, анализировал эту технику и пытался работать в этом ключе.

Вот некоторые выписки из дневника Н. Шпилова 1984–85 гг. (орфография авторская):

*“Думать о себе как части Бога. О Боге в себе. (Осознать: нечто – Богопротивно)”.*

*“Что есть самонаблюдение, если всякое самонаблюдение у меня – позыв к творчеству? Избавиться от вранья самому себе, от самообманов, от уступок. Больше писать”.*

*“Что касается меня и самонаблюдения, прихожу к выводу, что оно было всю жизнь. Только я забывал об этом. Надо не забывать. Научиться включать всю энергию, весь опыт в нужный момент. Отказаться от хвастовства, по мелочам особенно. Вот тут и наблюдать.*

*Отказаться от пустого остроумия, когда кажется, что этого ждет человек, от которого ты мелочно зависишь, а отсюда вывод:*

*– не позволять во что бы то ни стало мелочной зависимости. Знать за собой Больше.*

*Не ломаться.*

*– Самоуважение!*

*Самонаблюдение – это постоянное осознание своего высокого “Я” и подавление низкого. Это значит, что нужно четко определить запреты, параметры их. Тогда самонаблюдение перейдет на уровень “над” ощущениями.*

*Причиной же моей ярости и антипатии к себе – было искусственное подавление в себе чего-то, что ставило меня не в ряд моих товарищей. Я не хотел быть НЕ КАК все. Это противоречие, это насилие над собой – причина моей ярости, когда высвобождалась гордость и мое истинное “Я”.*

*И подавление себя в ряд, куда уже неходишь – отставить. Я вышел из той мишуры, но не осознал этого, а искусственный компромисс – бесил. Нужен уход и очищение. Это не мешает контактам с умными и нужными душе людьми. Остальные поймут, да это и не важно, важно “быть” и давать себе расти до верха.*

*Помнить Анну Маньяни!” (На Колю в тот период большое впечатление произвел телевизионный документальный фильм об итальянской актрисе Анне Маньяни. – **С. К.**)*

*“Я сильный. И моя вера – вера в человеческие поступки, подкрепленные внутренним огнем добра и великодушия. Мне надо уйти и писать повесть. Параллельно – все дела с пропиской. Не пить. Умерить курение. Молиться”.*

Следующая дневниковая запись говорит о силе и глубине религиозных переживаний Николая. Вера, творчество и любовь к женщине сливались у него воедино, в едином духовном восторге:

“3 января 1985. (...) Тогда, на остановке, 31-го испытал настоящий религиозный экстаз под спудом снега на шапке и воротнике. Он падал все эти три часа, что я стоял на остановке, ходил от остановки к дому, звонил, горел, и кругом меня зима, новогодние огни, и ревность с любовью, и желание увидеть, светлое, сильное. Хотел идти в город (дело было в Академгородке, что в 30 км от Новосибирска; позже в тот день мы вместе с Николаем небольшой компанией встречали Новый год, 1985-й. — С. К.) и именно пешком, чтоб истязать себя, мучить сознанием какой-то своей вины. А вот сейчас не знаю, пошел ли бы. Тогда пошел бы. Счастье и мука — любить, счастье и восторг — быть любимым. Это забываешь. Надо не дать себе забыть. Снег. Музыку. Автобусы. Я бегаю от остановки на той стороне дороги к остановке на этой стороне и смотрю в двери, и никому не завидую, а лишь молю \*\*\*: приедь, услышь, ночь моя звездная, солнце мое вечернее, роса моя луговая, губы мои любимые — останьтесь со мной. (...)

Нашлась сумка у Димы. Ждал его до трех утра в подъезде, но прошли еще сутки, пока он появился. До 15-го могу пожить у него, до самой командировки. Попробую. Я терпелив. Я совсем не тот безумник, что раньше. И это — \*\*\*. Она меня тоже научила быть самим собой, а не “люби меня таким, какой я есть”. Женщиной становится и какой: Благодарю Тебя, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий. Благодарю Тебя, Ангел Хранитель, не оставь нас в заботах своих. Слава ныне и присно и во веки веков. Аминь”.

А вот строки из письма Николая к моей сестре на самой заре нашего “общесемейного” знакомства, написанное через неделю после его первого появления в нашем доме. Он вообще очень любил писать письма, даже если человек жил в двух шагах от него. Письмо это многое объясняет в Колином внутреннем состоянии на тот период, в его тяге к родству, к семейственности — особенно после потери жены:

“Я понял, почему я так тянулся к твоему отцу, Юрию Михайловичу, а со знакомством не спешил: не подходило время, а сейчас подошло. Никогда я не пользовался чужим, с пятнадцати лет худо-бедно пользовался тем, чего добивался сам, и втайне скучал о родне, боялся ошибиться. Боялся покушения на свою независимость, непонимания идеи моей жизни чужими людьми. Сейчас не боюсь, и ваше милое семейство тянет меня, там легко дышать, там хочется быть бережным и не грубым, там не надо наработывать поведение, подгоняя его под общее. Боюсь одного: обиды. Я их пережил немало в жизни, но все это были чужие люди, и те обиды лишь подталкивали меня к работе, к реваншу, к узнаванию и осмыслению себя и своих поступков. (...) Как я уже говорил тебе, у меня, несмотря на многочисленные приключения, была лишь одна любовь: Ольга (Поплавская. — С. К.). И, если бы я был лет на десять моложе, я бы легче перенес случившееся в июле прошлого года. Но, если бы я был бы моложе, то у нас не было бы той высоты отношений, которая давала силы. (...)

Я знаю, что я хороший. Знаю, какие слухи ходят обо мне, и не беру их к сердцу: они, как тараканы на свету, исчезают при первых же успехах обсуждаемого X. Я знаю, что я не боюсь жизни. И знаю, что мало времени. И знаю, что мучительно искал заполнения той пустоты, которая образовалась с гибелью жены. И буду вечно помнить ее. (...) Я искал любовь, я лихорадочно искал, объездил города и городишки. Смотрел на улицах, в метро. Ты все поймешь, если прочтешь 2-й номер “Литучебы” за этот год (1984. — С. К.), где есть моя статья об этом. Началась иная жизнь, и мне нужна новая точка отсчета, и жить не любя я не хочу, не умею”.

### Штрихи к портрету художника

К моменту нашего знакомства ему было 37 лет, но выглядел он, пожалуй, постарше. Коля был невысоким, примерно 1 м 70 см, крепким человеком с очень интересным лицом. Это было лицо закаленного бойца с жизненными обстоятельствами. Особенно запоминались пронзительные синие глаза. Человек он был подвижный, энергичный — просто живчик, телосложением напоминал футболиста. Кстати, футбол и был его любимым видом спорта.

В детстве и юности, по его рассказам, Николай был классным вратарем. В нем чувствовался большой опыт по части драк – вырос он на окраине, в “городской слободке”, а тамошним пацанам без такого опыта было просто не выжить. Наверное, поэтому он так легко заводился и мог “вписать” любому – как-то вдруг, без паузы, если его что-то всерьез задевало. Но при этом всегда по-настоящему великодушен и отходчив. И физически, и морально всегда был готов защитить того, кто слабее – для него это было святое. Пояснял: “Так нас воспитывали”. Позже я еще вернусь к этой теме.

Надо сказать, я никогда – ни до, ни после – не встречал таких глаз, как у Шипилова. Они были не просто пронзительными. В них всегда пульсировало какое-то не то напряжение, не то боль, не то беспокойство, билась какая-то тень – как бьется о стекло маленькая птица. Именно потому в них трудно было смотреть долго – ты напрямую сталкивался там с этим “нечто”. И только теперь, мне кажется, я понял, что это было. Это были глаза человека с открытым, распахнутым зрением. Можно смотреть, а можно – видеть. Это были выдающие, зоркие глаза художника, находящегося в непрерывном творческом горении. Он вглядывался не умом, а всем своим существом куда-то в сердцевины, в природу явлений. Так порой смотрят кошки. Природные мистики, они видят мир глубже и объемнее человека – чувствуют землетрясения, различают дурных и хороших людей, могут по загадочным приметам найти свой дом за тысячи километров, ориентируются во тьме. Вот такой странный, острый взгляд был и у Шипилова. Только он смотрел как человек, художнически, с исканием, с вопросом. Не знаю, сознавал ли сам Коля, как сильно он отличается от остальных людей в их будничном полусонном состоянии. Большинство людей живет как бы машинально, не используя в повседневности свой чудесный аппарат осознания, чувствования мира. Коля жил по-иному. Он всегда думал, чувствовал, ощущал на полную катушку – потому что горел. “И упал я, сгорел, словно синяя стружка от огромной болванки с названием народ” – это ведь результат непрерывного прижизненного горения. А это не фунт изюму. Это – вся жизнь в жертву, на алтарь творчества. “Сытый голодного не разумеет”, – любил повторять Николай. Но он не навязывал никому своей правды, спокойно принимая тот факт, что у большинства совсем иной жизненный опыт, что им не до того, что они живут не в стихии поиска, не в бытии, как он, а в быту, в повседневности, что “меньше горя видели”, как он выражался. Он людей никогда не судил, принимая их такими, какие они есть. Но именно поэтому так ценил “своих”. “Свои” – это ближний круг его друзей. Те, кто его понимали и принимали целиком.

Еще одна черта: порой он казался человеком, внутренне очень одиноким, до тоски, до “сиротства”, так он это называл. Живя на людях, всегда окруженный толпой друзей, всегда – центр и душа любой компании, “всюду званный гость, всюду в стенку гвоздь”, он часто уставал от общения, уходил в себя. Но – парадокс – при этом физически и даже метафизически он не переносил долгого одиночества.

Меня поражало – до какой же степени мало он заботился о популяризации своего песенного творчества! Создал песню, попел друзьям – и отпустил: пусть живет. Бросал, терял, легко забывал свои песни. Как в животном мире некоторые звери не заботятся о своем потомстве. Это была его принципиальная позиция – некогда и незачем транжирить себя на такие пустяки. Пусть потом другие дотянут, найдут нужные ходы, опубликуют, издадут. Словом, доделают за него черновую работу по “популяризации”. Его дело – создать. Об этом он написал еще в 34 года в песне “Памяти Джо Дассена”:

*Поставь свой кар под теплый тент,  
Пойди пешком по белу свету,  
И пусть закончит песню эту  
Вместо поэта ассистент!*

Помню еще, что Николай очень боялся своего “поэтского”, как он говорил, рокового рубежа – 37 лет. Мистически боялся, много говорил об этом, с напряжением ждал 38-летия. Этот свой день рождения Коля встретил у нас

дома. Праздник вышел тихий, домашний. Я тогда написал ему стихотворное посвящение: “Ну, вот и прожита зима – та, что ты ждал, тридцать седьмая”, а Коля в ответ – песню “38-й день рождения”. Это было 1 декабря 1984 года. Зима тогда стояла лютая. А в Коле жила стойкая привычка сносить все легко, не замечая – голод, холод, долгую ходьбу, скитания по людям, усталость. Да он словно и не уставал – во всяком случае, виду не показывал. В нем много было горячего азарта, вкуса к жизни, смака во всем – в творчестве, в дружбе, в делах, в поступках. . .

### “Придут друзья меня спасать”

Общение с Шипиловым трудно представить вне общения с его друзьями. Талантливый человек всегда притягивает к себе других талантливых людей. Самые разные и яркие личности сопровождали Николая по жизни. В те далекие 80-е годы мне посчастливилось пообщаться лишь с некоторыми – с Иваном Овчинниковым, Люсей Печенкиной, Валерием Малышевым, Михаилом Евдокимовым, Сергеем Лыкошиным, Ларисой Барановой-Гонченко и другими интереснейшими людьми, на которых Шипилову везло. Когда я попытался проанализировать – был ли среди его друзей хоть один бездарный и ничтожный человек, то не вспомнил ни одного. Каких только типажей вокруг него ни крутилось, но скучных, неинтересных или подлых людей в его окружении просто не было.

Речь совсем не идет о дружбе с “особенными”, “избранными” – даже намека на элитарность в Шипилове никогда не было. Речь о другом – о даре пробуждать в других лучшее. Особое творческое силовое поле вокруг него ощущалось предельно явственно. Николай настолько заражал людей энергией своего творческого начала, что они тоже вдруг начинали писать, петь, рисовать, сочинять музыку. Конечно, это влияние чаще всего было невольным – Коля не ставил перед собой задач быть жизненным наставником или литературным гуру – он воздействовал на человеческие сердца и умы одним своим присутствием. Конечно, если кто-то просил его совета или помощи, то он охотно откликнулся на просьбу и показывал, что умел, как это было со мной, когда он делился секретами гитарной техники. Просто его увлеченность, заряженность творческой силой сама по себе передавалась людям. Не зря же столько известных людей называют его своим творческим крестным. Помню, как он убеждал мою сестру: “Ты могла бы делать классные авторские программы на телевидении. У тебя должно получиться!” Он так увлек Марину этой идеей, что они вместе написали сценарий и сделали передачу на новосибирском ТВ о живописи моей мамы, художницы Лилии Ключниковой. Передача прошла и очень всем понравилась, а моя сестра спустя годы действительно пришла на ТВ и стала делать авторские программы.

Когда Коля видел в человеке проблески таланта, то он буквально наставлял его на творческую стезю, подталкивал к активным шагам. Так было и с Мишей Евдокимовым. По сути, прежде всего благодаря Коле реализовался этот талант. Коля подсказал ему творческий метод – не выдумывать “жанровых” сатирических сюжетов, как это было принято, а просто показывать характеры своих сельчан – и это сработало на все сто, сразу же выделив Евдокимова из числа других пародистов. Кроме того, Коля подтолкнул Михаила к переезду в Москву, прямо заявив ему: “В Новосибирске ты никогда не реализуешься!” Помог он Евдокимову в Москве и конкретными делами, познакомив его с влиятельными людьми – к которым по своим проблемам сам он, кстати, никогда не обращался. Миша же воспользовался советами и связями и быстро пошел в гору.

### Тайна дара

Коля был художником до мозга костей, художником в каждом проявлении и поступке, и саму его личность нельзя понять в отрыве от его огромного природного таланта. Все, кто знал Шипилова, могут подтвердить, что он был талантлив не только литературно и музыкально – это был человек, одаренный

во многих отношениях. Например, он прекрасно рисовал – и карандашом, и красками. Особенно ему удавались портреты, он блестяще передавал характер человека. В Новосибирске мы видели рисунки, сделанные карандашом и ручкой. На вечере памяти 1 декабря 2006 года в Союзе писателей России перед нашими глазами предстали и очень интересные живописные работы Коли. За те годы, что мы с ним не виделись, он очень вырос и как рисовальщик.

Удивительной была и шипиловская музыкальность. Его сознание было наполнено звучащими мелодиями, они жили в нем, и он легко, без труда превращал в песни не только свои тексты, но и любые понравившиеся ему стихи. На наших глазах он положил на музыку стихи Пушкина, Брюсова, Цветаевой, современного поэта Александра Ибрагимова. В истории русской литературы было немало поэтов, поющих свои стихи, включая любимого Колей Рубцова. Но я убежден, что Шипилов – один из самых сильных и ярких песенных поэтов. Кстати, сам Николай не раз говорил нам, что его песни – это в определенном смысле продолжение традиции гусарских песен Дениса Давыдова. Потому, слушая Колину песню “Вальтрапы алые гусар”, посвященную событиям 1812 года, я всегда вспоминаю о Давыдове. Хотя мне кажется, что шипиловская песенная лирика глубже, разнообразнее и сильнее. Помимо гитары, Коля свободно играл на фортепиано, баяне, гармошке и мог мгновенно подобрать любую мелодию, при том, что никогда профессионально не учился музыке и ни при какой погоде не владел нотной грамотой. Помню, как он поразил всех нас исполнением “Полонеза” Огинского – он мигом подобрал его на фортепиано. Мелодии шипиловских песен в профессиональной музыкальной аранжировке представляли бы собой самоценную и очень интересную музыку. Высокую оценку Шипилову-композитору давали такие музыканты, как известный поэт-песенник Михаил Ножкин, руководитель Всероссийского хора “Пионерия” Петр Струве, эстрадный певец Дмитрий Маликов и многие барды – Александр Дольский, Олег Митяев, Юрий Кукин, Юрий Лорес, Сергей Матвеев.

Однако самое главное и сокровенное в творчестве Коли, на мой взгляд (подчеркиваю, что это субъективная оценка), заключается даже не в высоком качестве прозы или музыки. Он, прежде всего, был очень большим поэтом. Речь не о том, что его поэтический дар выше прозаического (сам он, кстати, так не считал), а о том, что он был поэтом по складу личности, души, мышления. Страстным, чутким, порывистым, внимательным, всегда подключенным к какому-то небесному источнику, всегда готовым как бы “поймать” свыше строку, рифму, мелодию. Его способность улавливать тонкие токи бытия, составляющие тайную сущность поэзии, была просто поразительной. Кстати, и чисто психологическая сенситивность, интуитивное умение чувствовать и понимать, что о нем думают другие люди, была у него от природы очень мощной. Я не раз замечал, как он буквально читал мои мысли и мысли других людей и на все вопросы загадочно улыбался и отшучивался. Часто говорил: “Просто у меня бешеная интуиция!”

Однажды в поезде, когда мы вчетвером ехали из Барнаула в Москву, я, чтобы скоротать время, предложил всей компании заняться телепатическими опытами. Мы загадывали друг другу разные слова и образы, мысленно чертили по лицу и коже партнера по игре разные фигуры и цифры, а потом пытались их отгадать. У Николая это получалось лучше других. Помню, как меня поразил и заставил задуматься сам факт шипиловской сенситивности. Почему этот поживший, закаленный, прокуренный, такой вроде земной и простой мужик, с юмором относящийся к оккультным учениям, чувствителен к тонкой реальности, как хороший экстрасенс? Сам Николай над всеми этими феноменами только посмеивался. Образ мысли его был парадоксален по природе. Помню, как в том же купе я провел для всех общий тест под названием “Пиктограмма”. Нужно было рисунком изобразить несколько абстрактных понятий. Коле досталась “ложь”. И он весьма колоритно нарисовал двух мужиков, один из которых несет мешок, а другой указывает ему пальцем на землю и говорит: “Ложь!” – в смысле: клади.

Одно из главных проявлений Колиного таланта, поражавшего меня, – это его виртуозный дар “плетения словес”. Он мог сесть за стол и сразу начисто написать великолепный стихотворный экспромт. Так, например, родился стих о немце Карле, потерявшемся в российской действительности:

Решетка Ботанического сада —  
 Провинциальных барышень ограда,  
 А в глубине стоит преддверьем ада  
 Эстрада, словно ухо упыря.  
 Листва деревьев клинками ветра сбита.  
 Прохожий немец глухо шепчет: битте!  
 Любите немца, барышни, любите...  
 А барышни о русском говорят.  
 Как он сутул и как очами огнен!  
 Его увидит женщина и охнет...  
 Очки поправит шваб на переносье,  
 Прочистит нос, утрет глаза платком,  
 И тяжким шагом попирая осень,  
 Пойдет он в магазин за молоком.  
 А русский дьявол мимо под хмельком —  
 Как снега ком, как злого ветра сгусток,  
 Промчит, и на душе у немца пусто.  
 Он шепчет как потерянный: “Комм... комм...”  
 Ихь... я толстяк... Пустяк, а нет удачи:  
 Меня увидит женщина и плачет...  
 В публичный дом! Трудом я нажил сумму,  
 Я задолжал Терентию и куму.  
 Хотелось в Государственную Думу —  
 Теперь куда? Нет спасу от стыда!  
 Карету мне!” И вот ему — карета,  
 И немец мчит сперва на оперетту,  
 А позже, под огромнейшим секретом:  
 “Гутн абенд, то есть, здрафтсфуйте, мадам...”  
 Мадам его словам не удивится  
 И поведет к стареющим девицам...  
 И снег с дождем как проклятые хлещут,  
 И немец пьет шампанское Клико.  
 В тиши вечерней черти ищут клещи,  
 Но миг любви уже недалеко.  
 И пот на лбу: копеечка к копейке,  
 За гривной гривна, два рубля к рублю:  
 “Скажи, Наташа: Карл, я вас люблю...”  
 — “Люблю, Карлуша! Но пока не пейте...”  
 Нет. Он нальется водкой — сто на сто.  
 Городовой разбудит под кустом.  
 “О фатерлянд! О розы над иконой!  
 О розовый младенческий покой!  
 Я здесь никто... Ну кто я здесь такой?  
 И немец Карл из лавочки суконной.  
 И новый околоточный, вот тля,  
 Дерет с меня в субботу два рубля!  
 Жену мою Терентий, возчик сена,  
 Нехорошо хватает за колена.  
 Он, бородатый варвар, русиш швайн,  
 Ее пытался бросить на диван!  
 Ну, всё. Пойду домой, к своим сосискам.  
 Прощай, люповь. Была ты отиэнь блиско...”

Но не только забавные экспромты удавались Коле легко, без помарок. Помню, свою замечательную “Песню о вранье” он написал ровно за семнадцать минут. Я невольно засек это время — ровно столько длился мой поход в столовую университета, в общежитии которого мы праздновали Новый год. А одну из лучших своих песен — “Я пришел на вокзал” — Николай сложил в голове за полчаса, пока шел от нашего дома к железнодорожному вокзалу — и потом обратно. Дело было в полночь (“на табло три нуля”), перестал ходить всякий транспорт, поэтому Коле тогда пришлось вернуться и заночевать у

нас. Помню, он пришел и почти с порога спел нам эту свою уже абсолютно законченную песню:

*Я пришел на вокзал —  
На табло три нуля,  
Ух, глаза бы мои не глядели!  
И себе я сказал:  
Возвращения для  
Я уеду на этой неделе.  
(...)  
Все уже позади,  
Век меня остудил,  
Осудил на скитанья без срока.  
Вместо тела — страна,  
Вместо сердца — струна,  
Вместо радио — в роще сорока.*

Вспоминается еще история, свидетельствующая о силе и глубине творческой концентрации внимания у Николая. Однажды я стал свидетелем его ссоры с любимой женщиной. Дело было поздним зимним вечером. Нас было человек пять, и мы из одной компании ехали в другую. На остановке мы долго стояли, ожидая трамвай, и наблюдали эту ссору. Затем Коля отошел в сторонку и застыл в одной позе. Он проигнорировал подошедший трамвай — в результате вся компания осталась ждать нового трамвая. Попытки вывести Колю из ступора были безрезультатны, он продолжал стоять как истукан. Наконец, я подошел к нему и спросил: “В чем дело? Что с тобой?” “А я, Серега, песню сочиняю”, — ответил он. Вскоре он исполнил эту свою новую песню, написанную в состоянии параллельного внимания. . .

Многие сюжеты приходили Коле во снах. И я, и Марина не раз слышали от него об этом. Эта выписка из дневника — одно из подтверждений тому:

*“30 ноября 1984 г. Ночью несколько раз просыпался без тревоги, потому что вдруг ясно увидел сюжет повести или пьесы, фабула которой проста, но богата возможностями. Это день рождения человека, философа от сохи, мастера, любящего книги. Он обходит в свой день рождения тех, кто в нем нуждается. Многие не знают про это событие, а он и не говорит. Кто-то знает. Ситуации возникают не одна из другой, а он избирает их сам — день рождения. Где-то чинит бачок для унитаза. Где-то соучаствует человеку. Бабка везет бутылки. Он ей: — Сегодня четверг — ларек-то не работает. — Ахти! — говорит бабка и везет обратно бутылки. Что-то беспокоит его. Он понимает, что невольно обманул бабку, что не четверг, а среда, к примеру. Бежит искать старую. Не находит, или находит, и бабка обрушивается на него со всей руганью. Нужно разработать драматургию этого сюжета. Надо писать и срочно”.*

### Человек-магнит

Еще одна черта Шипилова, бросавшаяся в глаза, — его огромная коммуникабельность. Это был просто гений общения, обладавший необыкновенной способностью притягивать к себе новых друзей. К нему часто подходили, как к старому знакомому, какие-то люди на улице — делились новостями, что-то спрашивали, рассказывали о себе. Он охотно поддерживал разговор, перебрасываясь общими фразами. Когда человек прощался и уходил, на наш вопрос — “Кто это?” — Коля улыбался и отвечал: “Понятия не имею”. “Так что ж ты ему не сказал: извини, мужик, ты обознался?” — удивлялись мы. А Коля отвечал: “А вдруг мы где-то встречались с ним, а я не помню! Зачем человека обижать? А потом, мне ведь интересно с ним поговорить”.

Так же легко, без малейших усилий Коля и сам заводил новые знакомства. Для него не представляло никаких сложностей познакомиться с любым человеком, быстро подружиться с ним и найти общий язык. Мне как психологу было очень интересно понять, каким образом у него это получается. Я заметил, что людское притяжение, “примагничивание” к Николаю было

вызвано его огромным интересом к каждому, кто попадал в поле его внимания. Он в каждого старался взглянуться и понять о нем что-то главное. Это был интерес и писательский, исследовательский, и человеческий. Секрет был прост: он искренне любил людей, был открыт и душевно щедр с ними. Иначе говоря, писатель в нем дополнял человека. Николаю были интересны все люди, не исключая бывших уголовников, бродяг и бомжей – их он очень жалел, делился мелочью, которой у самого было негусто, и всегда находил с ними общие темы. Я видел, что он обладал даром целостного внимания, сопереживания, с помощью которого он “сканировал” каждого человека, понимал его существо и общался напрямую с глубинным ядром его личности. Можно сказать и проще: ноу-хау шипиловского общения – в том, чтобы говорить с каждым новым человеком так открыто и душевно, словно ты знаешь его тысячу лет, легко минуя все социальные и коммуникативные барьеры. При этом Николай не суетился, не стремился никому понравиться, не лез в душу и был, как говорится, самодостаточен. Все это в сочетании с неиссякаемым шипиловским юмором и наплевательским отношением к жизненным трудностям пробуждало в людях огромную симпатию и желание продолжать общение. А так как степень открытости Коли и его простота в общении были просто фантастическими, у многих возникала иллюзия, что они являются его близкими друзьями. Он не мешал им думать так, но на самом деле его ближайший круг друзей был совсем не так уж широк. Всего несколько человек, которых он знал долгие годы и кому безгранично доверял, составляли это особое шипиловское братство.

Было очень интересно наблюдать за Колиным общением с близкими друзьями. В узком кругу своих Коля был спокоен, расслаблен, зачастую просто отдыхал и бывал немногословен. Ситуация менялась, когда собиралась большая компания и появлялись новые люди. Здесь в полной мере раскрывался актерский талант Шипилова, в юности работавшего в театре и игравшего в кино. Наибольшее удовольствие мне доставляли шипиловско-овчинниковские диалоги, когда друзья решали потрудиться на публику. Спектакль разыгрывался, как по нотам, хотя представлял собой чистую импровизацию. Мы все просто покатывались со смеху, когда Иван и Коля начинали словесное состязание. По психофизиологии и голосовому регистру они были абсолютными антиподами, как две колонки магнитофона – низкая, басовая, и высокая. Еще ярче этот контраст проявлялся в песнях, которые они пели на два голоса: “Из-за леса, из-за гор да вышла ротушка солдат, слева-направо, зелено-кудряво, шла-то ротушка солдат...”. Низкий баритон Николая очень колоритно переплетался с дискантом Ивана – слушатели были в восторге. По таланту собеседника, остроумию и парадоксальности суждений Иван нисколько не уступал Коле, и Шипилов признавался нам: “Уже двадцать лет слушаю этого артиста, и ни разу не заскучал – все время выдает что-то новое!” Шипилов даже всерьез мечтал выпустить книгу под названием “Беседы с поэтом Иваном Овчинниковым”. Главное условие успеха, считал он – чтобы книга вышла без малейшей редакции, под запись, иначе своеобразие Ивановых речей будет потеряно. Он очень любил своего “Ваньку Жукова”, трогательно опекал и не раз говорил ему в шутку: “Я тебя все же, наверное, усыновлю”.

Однажды Николай повез нас с сестрой к своим приятелям – Валере Санарову и Володе Разуваеву. Надо сказать, профессиональные и творческие интересы шипиловских друзей были весьма многообразны. Санаров, к примеру, был высококвалифицированным переводчиком с английского и других европейских языков, переводившим тексты по трансперсональной психологии, буддизму, эзотерике и различным паранормальным наукам. Меня поразила его огромная библиотека на иностранных языках и книги самых разных авторов – от известных западных ученых и буддистов – таких, например, как исследователь измененных состояний Чарльз Тарт или крупнейший буддийский лама Тартанг Тулку Ринпоче. Кроме того, Санаров был одним из самых серьезных в России специалистов по изучению цыган и цыганской культуры. В подтверждение серьезности своих изысканий он женился на простой неграмотной цыганке Земфире, нарожал с ней одиннадцать детей и устроил в своей двухкомнатной хрущевке настоящий табор. Земфира, кстати, считала Колю вполне своим, очень уважала и звала “Никола”.

Разуваев же, блестящий интеллеktуал с бородицей и имиджем Григория Распутина, был юристом, интересующимся эзотерикой, синергетикой, теорией систем. Эти два друга звали себя “нармудистами” (от “народная мудрость”) и писали совместный “Космический манифест” на тему этой самой народной мудрости. К моменту моего знакомства с ними он насчитывал уже более тысячи страниц. В дополнение ко всему, Санаров и Разуваев замечательно пели романсы, народные и цыганские песни и с удовольствием составили квартет с Шипиловым и Овчинниковым. Как потом признались мне “нармудисты”, любому человеку, приходившему в эту квартиру, они устраивали экзамен на “уровень соответствия”, и я, к моему удовольствию, его прошел. Помню, в конце нашей беседы речь у нас зашла о феномене русскости. Я спросил, как они ее понимают. И в качестве примера истинно русского человека – носителя главных, сущностных национальных качеств, оба “нармудиста”, не сговариваясь, молча указали на Николая – мол, вот оно, живое и яркое воплощение русскости во всех смыслах!

Шипилов был щедр не только на чувства, но и на помощь по отношению даже к малознакомым людям. Никогда не забуду целую кампанию по обеспечению детей барда Александра Дольского необходимыми теплыми вещами, которую Николай затеял по его просьбе. Дольский переживал тогда большие финансовые трудности, и все же материальный его достаток и известность были несопоставимо выше, нежели тогда у Шипилова, у которого вообще ничего своего не было. Ко времени перестройки общий тираж пластинок, кассет и дисков Дольского достиг 58 миллионов. Возможно, все это просто не приходило Коле в голову, но он сумел собрать по друзьям и знакомым кучу теплых вещей и переправить их в Питер.

Иногда было видно, что Николай устает от бесчисленных приятелей и знакомых, те мешают ему писать, вышибают из рабочего состояния, не дают сосредоточиться над замыслом. Бездомность порой вынуждала его пользоваться гитарой и пением как возможностью получить ночлег, рабочий стол, угол для отдыха. Зачастую перед ним вставала реальная перспектива на ночь оказаться на улице. Гитара служила ему палочкой-выручалочкой. Многочисленные новые поклонники, очарованные его песнями, то и дело находили ему какую-нибудь квартиру для жизни и работы. Он с радостью поселялся там и первое время “шифровался”, не сообщая своих координат никому, за исключением самых близких друзей. Но – что знают двое, то знает свинья. Через некоторое время армия многочисленных почитателей все-таки рассекречивала его новое “лежбище” и начинала буквально штурмовать его. Коля держался, сколько мог, но, в конце концов, сдавался под напором стихии. Воистину “придут друзья меня спасать, придут они меня губить”. Сколько их было – тех, кто после первого же застолья начинали считать себя его друзьями, и на которых он вынужден был распылать свое время! Наверное, не одна тысяча. Разбросанные по городам и весям, они ждали его, по-своему любили, грелись в лучах его таланта и открытого сердца и... понемногу губили его.

Застольное общение с малознакомыми людьми – всегда зона повышенной опасности в смысле конфликтов. Человек заводной, эмоциональный, активный, обидчивый, Коля на дух не переносил малейшего к себе неуважения и нередко затевал ссоры. Он не был агрессором, и я ни разу не видел, чтобы он попусту задибался или демонстрировал оскорбительное отношение к кому бы то ни было. Подчеркиваю – попусту. На самом деле Коля блестяще владел приемами, позволяющими психологически “опустить” хама, наглеца, человека подлых убеждений, чем и пользовался в случае необходимости. Помню, однажды Коля, вступившись за честь товарища, которого несправедливо оскорбили, буквально за пять минут словесно “опустил” его обидчика. Тот растерянно промямлил: “Николай, ты считаешь меня таким козлом?”

Дальше последовал такой диалог:

**Николай:** Кто произнес слово “козел”? Разве я хоть раз употребил это слово?

**“Обидчик”:** Вроде нет.

**Николай:** А кто первый сказал “козел”?

**“Обидчик”:** Ну, я.

**Николай:** Раз ты сам так сказал, тебя, наверное, есть за что считать козлом?

**“Обидчик”:** Ну, может, и есть.

**Николай:** Так ты действительно вел себя, как козел?

**“Обидчик”:** Наверное, вел.

**Николай:** То есть ты сам признаешь себя козлом?

**“Обидчик”:** Ну, признаю.

**Николай:** Первый раз в жизни встречаю взрослого человека, который сам себя называет козлом!

**“Обидчик”** был в полном “ауте”, а вся компания просто вырубилась от хохота...

В то же время Николай был до болезненности самолюбивым человеком, не терпящим даже намека на насмешку и пренебрежительное отношение к себе и своим друзьям. Он решительно, отчаянно и безоглядно шел на обострение ситуации – противники чувствовали это и обычно отступали.

Несмотря на то, что Коля был чрезвычайно эмоционален, и казалось, что он живет не головой, а сердцем, его интеллект был очень сильным, живым и глубоким. Он много читал, не просто пополняя недостаток образования, но и глубоко проживая книжную информацию. Особенно он любил книги по русской истории. У меня всегда было чувство, что русскость, пережитая художнически, была для него истиной в последней инстанции. Он словно настраивал себя, как гитарную струну, на русский лад (“по-русски чисто, грустно и светло”). В то же время он на дух не выносил лобового патриотизма, не пропущенного через сердце и личную судьбу. Об этом он говорил и тогда, в 80-е, и в свои последние годы, о чем я узнал из нескольких домашних концертов и бесед, сохранившихся в записях.

#### Московское совещание молодых писателей. 1984 год

В мае 1984 года Николая пригласили в Москву на очередное совещание молодых писателей. По времени его поездки совпала с моим посещением Ленинграда (я тогда учился в заочной аспирантуре психфака ЛГУ) и Москвы, куда обычно заезжал из Питера к друзьям. Мы с Колей быстро нашли друг друга в столице, и он пригласил меня на свое обсуждение, которое вел Вячеслав Шугаев, год назад открывший Шипилова как писателя. На этом обсуждении я стал свидетелем одной не очень приятной сцены. Что повлияло на Шугаева, мне неизвестно, но он почему-то решил устроить Коле разнос в присутствии двух десятков молодых литераторов. Холеный, важный, велеречивый Шугаев прицепился к какой-то фразе из Колиной повести за якобы имеющую место “душевную неточность”. Ему не понравилась “неуместное авторское самолюбование на фоне человеческой трагедии героини” – что-то в этом роде. Мол, у автора умирает героиня, а он на этом фоне демонстрирует свои литературные изыски.

Для Коли это выступление было абсолютно неожиданным – он, по-моему, просто не понял шугаевской логики, попытался что-то объяснить своей характерной скороговоркой, а затем просто замолчал. Шугаев почувствовал, что перебрал, и смягчил тон: “Вы талантливы, а значит, несете огромную ответственность за каждое слово. Поймите меня и не обижайтесь!” После совещания несколько человек подошли к Николаю и высказали ему слова поддержки. Никто не понял причин шугаевского “наезда”. Коля принял случившееся близко к сердцу, но виду не подал. Уже в Новосибирске Шугаев снова возник в Колиной жизни. Вскоре после возвращения из Москвы Шипилов пришел к нам и взволнованно сообщил, что сегодня ему позвонил Шугаев и сказал примирительным тоном: “Николай, я видел про вас сон, в котором говорилось, что вам в жизни предстоит совершить три подвига! Мне захотелось сообщить вам об этом”. Коля потом не раз поминал нам с сестрой про эти грядущие “три подвига” – мол, не знаю, что там, в будущем, мне еще предстоит совершить, но вообще-то подвиги – это то, что делает из людей героев.

Размышляя над сном литературного крестного Шипилова уже с сегодняшних позиций, я думаю, что этот его сон был, пожалуй, пророческим. Коле действительно предстояло в жизни совершить три подвига – таких поступка, в которых он духовно вырос, поднялся над собой, к чему прежде не был еще готов. Первый подвиг – защита Белого Дома в 1993-м. На его баррикадах Николай проявил себя и как мужчина, и как гражданин, и как воин, готовый

пролить кровь за Родину. Он и сам считал это событие священным в своей жизни и посвятил ему несколько прекрасных песен. (Один кинорежиссер, в целом воспринимавший Колины песни без восторга, не мог не признать, что песня “Защищали не “бугров”, а российский отчий кров...” – это лучшее, что он слышал о Белом Доме.) Второй подвиг в жизни Николая был актом духовным. По природе своей человек неистовый, страстный, он, подобно Мите Карамазову, в последние годы жизни пришел к глубокой вере, к православию, и своими руками вместе с женой Татьяной построил храм. Третьим подвигом в жизни Николая, мне кажется, можно считать его творчество – все эти годы оно шло на взлет. Коля неуклонно и мощно рос и в слове, и вере, и созидании самого себя как личности.

Не могу сказать, что к мнению Шугаева Коля был абсолютно безразличен. Знаю, что кусок повести, раскритикованный Шугаевым, Шипилов переписал, и от этого повесть выиграла, но сам Шугаеву он звонить не стал, и тот позвонил ему первым. Вообще в этой истории поведение Шугаева выглядело довольно странным, и сам он показался мне человеком, склонным к игре на публику, непоследовательным, подверженным настроениям. Вальяжный, чувствующий себя хозяином жизни (насколько это возможно для писателя в позднесоветской России), любящий блеснуть словом, Шугаев в глубине души, наверное, не был уверен в себе до конца и понимал, что Шипилов талантливее его. Потому, похвалив сначала Колину прозу, он затем счел необходимым продемонстрировать ему реальное соотношение сил: кто в литературе пока еще солдат, а кто – генерал. Нужно признать, что Шугаев уже тогда был скорее чиновником, волею судеб примкнувшим к патристическому лагерю, чем художником. В дальнейшем, когда патриоты стали проигрывать, он легко перешел в стан к демократам, стал вести телепередачи на темы культуры и политики, брать интервью у известных деятелей. Бросалось в глаза, что он уже “не в формате” и на фоне агрессивных молодых журналистов демократической волны смотрится почти мастодонтом. Но он изо всей силы стремился убедить новую медиа-власть в своей лояльности и любой ценой удержаться в обойме. Однако порыв его оценен не был, и через какое-то время Шугаева убрали с телеэкрана. Предполагаю, что когда Коля видел шугаевские выступления по “ящику”, то испытывал чувство глубочайшего разочарования.

Вспоминая эту историю и размышляя над взаимоотношениями двух литераторов, каждый из которых обладал немалым самолюбием, я сегодня могу с уверенностью сказать: личностная и творческая самооценка Шипилова – человека, только прикоснувшегося к успеху, но никакого статуса не имевшего, была устойчивее и выше, чем у Шугаева, признанного литературного босса, имевшего почти все, что на тот момент можно было получить от жизни. Коля всегда знал себе цену и понимал силу того творческого потока, который шел через него. Это чувствовали сотни и тысячи людей, общавшихся с ним, слушавших его песни и читавших его прозу.

На совещании молодых писателей множество прозаиков, поэтов и бардов с большим интересом наблюдали за Колей. В гостинице “Спутник”, где жили участники совещания, я познакомился с интересным бардом из Ленинграда – Виктором Федоровым, чья песня про Егорушку, который “перелистывает сказки, лежа на животе”, нравилась Коле еще в Новосибирске; видел интересного прозаика Петра Краснова. Куча народу приходила пообщаться с Шипиловым, послушать его песни и посмотреть на “сибирского самородка”. Ночи напролет участники совещания вели бурные споры на самые разные темы. Коля был в центре любых дискуссий. Помню, кто-то из писателей часа этак в два ночи вдруг выдвинул дикий тезис: “Россия сегодня проституирует!” Что он хотел этим сказать – понять было трудно, однако Шипилов вскипел: “Чем ты можешь доказать свои слова?” Тот мычал что-то невнятно-демократическое (во всем своем “блеске” либеральная риторика на тот момент еще не сложилась). Николай вмиг свел разговор к тому, что за свои слова надо отвечать конкретными поступками. “Либерал” в ответ попытался атаковать: “А ты сам-то как можешь подтвердить свои убеждения?” Коля выскочил из-за стола и удалился в ванную комнату. Когда он вернулся, мы даже не сразу поняли, что в нем изменилось. Покрасневший и взволнованный, он с вызовом сообщил оппоненту: “Вот, смотри: я сейчас совершил поступок – сбрил усы, которые никогда в жизни не сбривал. Я отвечаю за себя и за свои убеждения.

Раз я их сбрил, значит – отвечаю усами. А ты чем можешь ответить?” Спорщик сразу сник, засуетился и спешно покинул компанию – отвечать за свои слова он не был готов. Николай был удовлетворен победой в споре, хотя, когда поглядывал в зеркало, скептически хмыкал. Видно было, что потеря усов далась ему непросто. Кстати, усы действительно были абсолютно необходимым элементом шипиловского образа и очень украшали его.

Когда я приезжал в Москву, то всегда старался встретиться с известным литературоведом и критиком Вадимом Валерьяновичем Кожиновым, с которым еще в 1980 году познакомился и общался мой отец. Я относился к Кожинову с огромным уважением. Позднее мне предстояло проработать с ним бок о бок в одном отделе Института мировой литературы около десяти лет. А в тот раз я твердо решил вывести на него Колю, тем более что Кожинов очень любил гитару, сам играл на ней и неплохо пел. Я позвонил Вадиму Валерьяновичу, передал привет от отца и как бы между прочим поинтересовался, следит ли он за совещанием молодых писателей. “Особо не слежу, на нем вроде бы нет крупных открытий, кроме даровитого прозаика Шипилова из вашего Новосибирска”, – ответил мне Кожинов. Я тут же рассказал Вадиму Валерьяновичу о своей дружбе с Николаем, а также о том, что он – не только талантливый прозаик, но и очень интересный бард русского направления. “Я уверен, Вадим Валерьянович, что вам нужно его послушать”, – сказал я Кожинову. “Позвоните мне завтра, договоримся о встрече”, – ответил тот.

И вот мы с Николаем в знаменитой квартире Кожинова на Арбате. Коля немного волновался и был не совсем в голосе. Кожинов рассказал нам, что у него часто бывали самые разные поющие поэты. Вскоре перешли к Колиным песням. На старой, не лучшего качества гитаре Николай, как сейчас помню, успел исполнить восемь песен – “После бала”, “По углам млеет мгла”, “Юных надежд моих конь”, “Пехотурушку” и еще несколько. Помню, я очень попросил Колю спеть “Черное число”, почему-то думая, что Кожинову эта песня особенно понравится, но тот отказался, сославшись на посаженное горло. Реакция Кожинова была, в общем, весьма положительной, но все же несколько неожиданной для меня. Он сказал примерно следующее:

“Да, у вас очень сильные песни, вы хорошо играете и поете. Однако в целом ваша поэтическая и музыкальная интонация не выходит за пределы того, что создали Окуджава и Высоцкий. Хотя, конечно, ваши песни намного чище – они русские, глубоко национальные. Но есть такой бард Васин, у которого каждая песня – настоящий шедевр”.

Затем Кожинов взял гитару и сам спел две-три песни – насколько я помню, на стихи современных русских поэтов. Напоследок он пригласил Колю попеть для своих друзей, когда ему удастся это сделать. Кожинов куда-то спешил, и потому встреча получилась недолгой – около часа. Николай поблагодарил Кожинова, сказав, что для него честь – услышать от такого человека любое мнение. Однако, когда мы вышли, Коля признался, что несколько разочарован манерой поведения Кожинова: “Конечно, он очень умный и тонкий. Но все-таки слишком категоричный и с большим самомнением”.

Через лет десять-двенадцать мы с Кожиновым вернулись к разговору о Шипилове и авторской песне. Как я убедился, Кожинов свои убеждения и оценки менял редко. Для него по-прежнему кумиром был бард Васин. Он поставил мне видеокассету студии Васина, где вместе с ним пели какие-то молодые люди. Помню, также он ставил васинскую песню на слова Передреева и был в восторге от его игры и пения. Но, хотя песенное творчество Васина было интересно и симпатично, я все же остался при глубоком убеждении, что шипиловские песни – намного ярче и талантливее.

### Летняя поездка по России

В начале июля 1984 года мы вместе с Колей небольшой компанией совершили “круз” по сибирским городам – посетили Томск, Барнаул и Сrostки, где проходили Шукшинские чтения. Помню, Николай восхищался речью Валентина Распутина, с горечью констатировавшего, что человеческая природа мало меняется к лучшему, несмотря на “тысячелетнюю власть религии и столетие новейшей философии”. В Барнауле мы много общались с местными ли-

тераторами – Толей Кирилиным, Женей Гавриловым (теперь уже покойным). Состоялось Колино выступление на барнаульском телевидении. Кстати, там же, в Барнауле была написана Колина песня “Возле звенит, летает комар”, а в купе поезда из Барнаула в Москву – ставшая знаменитой “Станция Куеда”. Во время этой поездки я убедился, насколько популярно было творчество Николая в народе. Он все время потихоньку пел в купе, что-то сочинял. И вдруг однажды, когда наш поезд стоял в Барабинской степи, мы услышали в противоположном конце вагона гитарный перебор, и зазвучало: “Никого не пощадила эта осень...”. Молодежная компания и не подозревала, что автор этой песни находится рядом, в нескольких шагах. Когда я сообщил об этом ребятам, они страшно обрадовались и, конечно, тут же явились посмотреть на Колю, послушать его песни. Сам же Николай в этой ситуации был скромен, спокоен и абсолютно естествен.

Июль 1984 года в Москве был богат интересными встречами и событиями. Одно из них – наша совместная поездка в Троице-Сергиевскую лавру, где Николай впервые в жизни встретился со православным старцем – отцом Кириллом. Нас сопровождал тогда еще неопит, а ныне настоятель Сретенского мужского монастыря и духовник президента Георгий Шевкунов (отец Тихон). Коля знал его давно – по-видимому, через Анну Горбову, свою хорошую знакомую – в ее большой квартире у метро “Новокузнецкая” перебивал чуть ли не весь московский бомонд. Наш путь в лавру сопровождался бурными спорами о религии, духе и творческой свободе. Однако Николай вел себя тихо, сдержанно – видимо, внутренне готовясь к встрече со старцем. Помню, когда все мы беседовали с отцом Кириллом Павловым, Коля стоял вытянувшись в струнку, как часовой у Мавзолея. Чувствовалось, что Православие очень влечет его, но принять строгие церковные каноны он пока не готов. Тем не менее встреча со старцем произвела на него очень сильное впечатление, и он долго молчал на обратной дороге в электричке.

Еще мне запомнилась очень интересная поездка вместе с Колей в подмосковный город Старая Купавна, где жила моя знакомая – Сусанна Петровна, пожилая женщина, обладавшая даром ясновидения, и при этом почти слепая. В ее квартире нашли себе приют несколько десятков бездомных кошек, но – удивительно – не было никакого запаха. Когда Коля спел несколько военных песен, Сусанна Петровна так растрогалась, что заплакала. “Вы ведь прошли войну?” – спросила она его. “Да нет, что вы. Мне 37 лет”, – смутился Коля. Тогда она стала страстно убеждать Николая, что он обязательно должен петь как можно большему числу людей, потому что у него очень большой дар. Помню, что на Колю ее слова и сама она произвели сильное впечатление и в чем-то внутренне укрепили.

### Концерты и выступления

Летом 1984 года в лесу под Новосибирском проходил фестиваль бардовской песни. Колю там встречали как корифея, и всем нам возле каждой палатки подносили выпить. А во время его выступления произошел памятный в бардовских кругах скандал с кагэбистами. Народу в лесу перед сценой собралось тысяч десять, Коля пел с огромным успехом, а на бис лихо исполнил “Самогонщицу”, чем вызвал бурю восторга. Но едва отзвучали овации и Коля сошел со сцены, как его под белые рученьки потащили в кусты на разборку идеологические кураторы фестиваля. Где-то там, в лопухах и крапиве комсомольско-гэбистская братия долго прорабатывала его: “Что вы себе позволяете?! У вас парторг мается похмельем! Вы умудрились опорочить и партийных работников, и советскую милицию, и деятелей культуры! Да вы понимаете, на что вы замахнулись?!” Помню, Коля потом был удручен и все повторял: “Ну, все, теперь они мне перекроют кислород”.

Но кислород был перекрыт фестивалям КСП. После Колиной “Самогонщицы” все бардовские фестивали в Новосибирске были закрыты года на три.

Я тогда работал психологом в психологической службе НЭТИ, самого большого вуза в городе. Здесь был сильный клуб самодеятельной песни, и сюда приезжали самые разные, в том числе и очень известные барды из Москвы. На моей памяти в НЭТИ давали концерты Юрий Кукин, Евгений Ба-

чурин, Вадим Егоров, Вероника Долина. “Почему бы не организовать в НЭТИ выступление Шипилова?” – подумал я и связался с руководителем этого клуба Еленой Родской. Через некоторое время общими усилиями концерт состоялся. Благодаря известному коллекционеру бардовской песни Борису Хабасу, записавшему этот концерт Николая, он сохранился для всех нас. Публика принимала Колю восторженно. Я наблюдал, как несколько человек, лично не знакомых с Шипиловым, но заочно относившихся к нему с предубеждением (сплетни делали дело), после концерта ушли полностью покоренными его песенной магией.

Словно предчувствуя скорое расставание с Колей, который через некоторое время навсегда уехал в Москву, я организовал домашнюю запись его песен на магнитофонную катушку. Именно эта запись сохранила для истории более 20 чудесных и почти неизвестных песен. Кроме как на этой кассете, их теперь не отыскать нигде. Некоторые из этих песен рождались у нас дома, прямо на моих глазах, и были посвящены драматическим событиям в его личной жизни. Другие были возвращены Коле кем-то из его друзей незадолго до записи. Дело в том, что все свои тексты Коля за неимением своего дома хранил по друзьям и знакомым. И вот однажды кто-то вернул ему целую наволочку забытых им текстов песен. Он им очень обрадовался, а затем еще долго разбирал на гитаре. Именно тогда получила вторую жизнь абсолютно забытая им песня “Цветенье ландышей”. В течение недели мы устраивали целые домашние концерты-записи, на которых перебивали десятки людей. После моего переезда в Москву эта кассета куда-то пропала – как мы думали, безвозвратно. Однако рукописи не горят, и песни – тоже. Оказывается, мой товарищ, врач Борис Вицын, ставший поклонником Колиных песен, все эти годы хранил копию утерянной кассеты. Какой восторг испытали мы через двадцать с лишним лет, услышав песни, воскресившие атмосферу нашей молодости и дружбы с Колей!

### Переезд в Москву

Когда Коля окончательно уехал в Москву, чувство было такое – вот и кончился праздник, который всегда с тобой... Разрушилась особая атмосфера, полная оживления, людских потоков, творческих выплесков, новых знакомств, споров, гульбы, всегда сопровождавшая Шипилова. Помню, что я остро почувствовал тогда эту потерю.

А через некоторое время и у меня включилась собственная программа переезда в Москву. Мне захотелось реализовать себя в столице по полной программе. Новосибирск стал узок и тесен для меня. Честно говоря, Коля косвенно повлиял на это мое решение. Я просто увидел, что можно жить так, как он – безоглядно, уверенно завоевывая столицу творческой силой и ничего не боясь. Уже через полгода я снова встретился с Николаем, в то время жившим на квартире, снятой моими друзьями, с которыми я его познакомил его прошлым летом. Песен он в тот период не писал – сосредоточился на прозе. Мы пересекались еще несколько раз в Москве, он приходил в гости... Помню его записку ко мне – “Сергею Юрьичу, півцу и куричу”, как он шуточно подколот меня в прошлых грехах давно ушедшей юности. Но потом столичная суэта и проблемы “врастания” в Москву отдалили нас друг от друга. Иногда до меня доносились слухи о литературных успехах Николая, его концертах, вышедших книгах и статьях. Несколько раз мы сталкивались в общезитии Литинститута, где в то время училась в аспирантуре моя сестра. Но затем жизнь развела нас всерьез и надолго. То есть навсегда.

### Последняя встреча

Последний раз мы встретились с Николаем летом 2000 года во дворике Института мировой литературы, где я тогда работал научным сотрудником, занимаясь темой евразийства и русской идеи. Мы обнялись и проговорили около часа, пока Колю не забрала с собой группа товарищей-литераторов. Он рассказал мне, что большей частью живет в Белоруссии, что там хорошо, хо-

тя порой бывает скучновато, что телевидение там чистое и здоровое, хотя, в общем, провинциальное. Он скуповато, сдержанно рассказал о том, что в 1993 году был в Белом Доме, расспросил про общих знакомых, поделился своими новостями. Я сразу отметил, что он стал гораздо более политизированным человеком, глубоко переживающим боли и беды России последних лет. На мой вопрос: “Как ты думаешь, в России Чубайс победил окончательно?” – ответил: “Во всяком случае, надолго, лет на пятнадцать”.

Помню, что я спросил Колю, удалось ли ему попеть свои песни для каких-нибудь известных людей, например, связанных с властью, или же из круга оппозиции. Он задумался, а потом назвал фамилию одного известного губернатора, вполне достойного человека, сильного управленца и патриота по убеждениям. “Мы с ним посидели часа полтора, выпили бутылочку коньяка, и я пошел ему”, – рассказал мне Коля. “И какое впечатление он произвел на тебя?” – спросил я. “Да мужик он, наверное, хороший, – ответил Николай, – но, как и все они наверху, какой-то сытый” – то есть, неспособный глубоко чувствовать беды и нужды простых людей. Как человек, выросший среди “дураков и дурнушек” и любивший их всем сердцем, Коля органически не выносил чиновничьего равнодушия всех этих “начальников-беспечальников” – что советского, что постсоветского периода. Как я узнал позднее, единственным начальником, которому он глубоко верил именно за искреннюю боль о народе и силу характера, был батька Лукашенко.

При всей своей занятости и погруженности в творчество Коля ухитрялся следить за самой разной информацией. Меня поразило, что он, оказывается, читал или, по крайней мере, просматривал некоторые книги, изданные в моем издательстве, к которым я написал ряд предисловий. Николай даже похвалил меня за книгу по философии древнего Египта, сказав, что она “очень серьезная”.

На тот момент Николай как раз уезжал в Белоруссию, где он, по его признанию, чувствовал себя лучше, чем в Москве. Мы договорились не терять друг друга из вида, встретиться, попеть песни и созвониться, когда он вернется в Москву. Увы, этим планам не суждено было сбыться. Больше я Шипилова никогда не видел.

Уже в конце 2005 года кто-то рассказал мне, что Николай стал влиятельным человеком в Белоруссии, пишет книгу о самом Батьке и на пожертвования какого-то богатого человека строит храм в деревне под Минском. Как я впоследствии узнал, слухи эти оказались не слишком точными. Но прошло еще полгода, прежде чем я решил набрать фамилию Шипилова в Яндекс и попал на сайт, где были выложены старые и новые песни, проза, интервью Николая. Довольно бегло прочитав их, я испытал странное чувство – вроде бы это был прежний Коля, а с другой стороны – совсем новый, духовно зрелый человек с ясной и твердой гражданской позицией. Меня поразило, насколько сильно изменился Шипилов, хотя теперь я понимаю, что все эти изменения были развертыванием глубинного потенциала, заложенного в нем с юности.

Помню, когда я прочитал строки замечательной песни “Элегия”: “Снега, снега, снега, гасни, ты гасни, жизнь, влюбленная в меня”, то подумал: хорошо было бы услышать это под гитару! Но как это сделать? Ведь Коля живет в другой стране. . .

В августе 2006 года я две недели, с 3-го по 17-е, провел в Новосибирске. Позже я узнал, что Николай 25 июля открывал там аллею бардов и вечером 15 августа покинул столицу Сибири. А через день с ним случился инсульт. Значит, мы могли встретиться в двухмиллионном городе, но увы. . .

А летом, на отдыхе в Испании, гуляя у моря, мы – я, моя жена Ольга, также хорошо знавшая Николая по Новосибирску, и сестра Марина – еще ничего не зная об инсульте, вдруг почему-то заговорили о Шипилове. Перебирали связанные с ним события, вспоминали все перипетии того периода, общими усилиями сопоставили многие факты – чего прежде никогда не делали – и при этом не могли понять, с чего вдруг накатил такая волна? После приезда в Москву все стало ясно. Тонкая связь между людьми, тем более – в экстремальной ситуации, – для меня абсолютная реальность. Я думаю, что Николай в эти тяжкие для него дни, лежа в реанимации с инсультом и чувствуя близкий уход, вспоминал прожитую жизнь. Перебирая события и лица, подводя итоги и прощаясь, он вспомнил и о нашей семье – ведь когда-то мы были очень близки. . .

Едва мы вернулись в Москву из Испании, нам вдруг позвонили из Новосибирска: “Умер Николай Шипилов”. Первое время мы все попросту не могли поверить в случившееся. Осознание истинного масштаба личности и творчества Николая пришло не сразу. Живая боль потери развивалась толчками, постепенно. У меня, например, осознание случившегося в полной мере произошло лишь спустя несколько месяцев, по мере погружения в Колины песни, стихи, прозу, новые материалы наследия. Какой могучий и чудесный талант покинул Россию!

Мы много размышляли о сценарии жизни Шипилова, который тогда, в 80-х, на наших глазах разыгрывался в каком-то роковом варианте. Если внимательно проанализировать Колино творчество, его песни, то там отчетливо просматривается живущая в нем программа ранней смерти с трагическим концом. “Упасть хочу, ударившись о землю, и крыльями прижать ее к себе”, “И упал я, сгорел, словно синяя стружка от огромной болванки с названием народ”, “Те, кто давал советы мне, и сами в жутком трюме. Я слышу их едва-едва, вдруг осознав, что умер”, “Тогда скажу я им не зло: Деревья и трава! Я скоро стану им золой, я буду пищей вам!”, “Нет, умирать не готов, не готов. Но лягу, где-то лягу”. Все это – песни 70–80-х годов. Позже, в 90-х, в статье о Рубцове Коля написал: “Путь поэта – это путь к ранней могиле”. Что было бы, если бы эта Колина фатальная программа осуществилась тогда – на самом взлете? В истории русской литературы сохранился бы образ талантливого писателя и поэта-песенника с ранним трагическим финалом. Но в этом случае не было бы ни героического участия Николая в событиях 1993 года, ни его прихода к вере, ни пронзительной патриотической публицистики, ни поздних песен великой силы и драматизма, ни провидческого романа “Псаломщик”...

Все эти события и факты жизни Шипилова, с такой силой и мощью пропущенные через его творческое сознание и душу, были нужны не только ему самому для дальнейшего духовного восхождения, но и всем нам. Слишком велик был его талант и масштабен потенциал личности, чтобы Бог позволил ему уйти из жизни подстреленным, не долетевшим до цели. Шипилов оказался победителем. В своей надрывной судьбе он сумел миновать еще один соблазн, подстерегающий каждого большого художника – соблазн благополучного творческого финала, земного вознаграждения за прежние страдания. Представим, что Коля под старость получил бы всенародную славу, признание, материальное благополучие. Как бы это отразилось на его творчестве и душевном состоянии? Не могу себе представить Шипилова преуспевающего, почивающего на лаврах – где-нибудь в загородном особняке, в дорогом отеле, на курорте в Ницце... Бред какой-то. Шипилов и роскошь – две вещи несовместные.

Но мне ясно и другое. Достойный, благополучный финал для Коли был бы возможен, если бы история страны пошла по другому руслу, миновав соблазн перестройки с ее беспределом, бессмысленной и беспощадной коммерциализацией, буржуазной пошлостью. В этом случае творчество Николая получило бы истинное признание, и в литературном мире он занял бы то же место, какое занимали в советский период всенародно признанные Распутин, Белов, Шукшин... А песенное наследие, издаваемое большими тиражами, сделало бы Шипилова народным любимцем...

Мог ли человек такого творческого и личностного калибра, каким был Шипилов, получить массовое признание сегодня? Вопрос бессмысленный. Современное широкое признание возможно только через ТВ и FM-радио – а там царит та же беспредельная пошлость. Даже такой шедевр, как пророческая песня “После бала”, в которой Коля предсказал свою смерть, не может существовать в нашем музыкальном пространстве в шипиловском исполнении, с его пронзительной искренней интонацией. Она должна быть адаптирована к вкусу толпы через эстрадную обработку, что и сделал Маликов. Только в таком виде она станет песней года 1998-го. Коля прекрасно понимал свою нерыночность и не хотел идти на поклон сильным мира сего, просить деньги на выпуск компакт-дисков. Когда после триумфа 1998 года серьезные коммерсанты от шоу-бизнеса предложили ему продать несколько песен для эстрадных звезд, он напрочь отказался – в нежелании размениваться на мелочи он оставался верен себе всю жизнь. Этот жизненный сценарий внутренней эмиграции абсолютно органичен для Шипилова. Коля предпочел

при жизни категорически не суетиться и не участвовать в ярмарке тщеславия, а сосредоточиться на самом процессе творчества, предоставив возможность распорядиться его плодами друзьям и потомкам.

Когда я послушал сам и дал послушать своим друзьям, знакомым с Колиными песнями, диск “Золотая моя, золотая”, мы, не сговариваясь, отметили, что шипиловский талант, яркий и мощный уже с юности, под конец жизни поднялся на какой-то иной уровень. Сама основа — душевная боль, ранимость, сердечность — осталась. Но пришло новое состояние духа, наполненное глубокими надличными переживаниями по поводу поруганной и распятой родины. От темы личной неустроенности художника, не понятого эпохой, внутреннего “эмигрантства в своей отчизне” Шипилов обратился к теме России, ее кресту и назначению, глубочайшему неприятию социальной несправедливости новорусской эпохи. Достаточно послушать его песни “Ко мне постучался товарищ хороший” или “Шахтерскую”, чтобы увидеть, что Шипилов перерос личную боль и заговорил как творческий ходатай, как молитвенник за страну. Он действительно изменился, вырос, развился, в каком-то смысле переродился — оставаясь собой и не изменяя себе. Можно сказать, что этой глубинной трансформацией он опроверг философию своего старшего друга и литературного учителя Ивана Овчинникова, который был убежденным сторонником идеи неизменности характера русского человека. У Ивана даже есть стихотворение-заклинание — о том, чтобы никогда не изменяться, никуда не развиваться, а просто собой оставаться. Шипилов в этом вопросе вроде бы соглашался с Иваном. Но вот на вечере в Новосибирской филармонии в 2001 году камера запечатлела слова Коли, что ему важно развиваться — и в своем творчестве, и во взглядах на мир. Формула “измениться, не изменяя себе”, мне кажется, наилучшим способом объясняет всё, что произошло с Шипиловым к концу жизни. Духовно он изменился так глубоко, что сумел понять и выразить какую-то, пока еще неразгаданную русскую тайну, которую всем нам предстоит понять.

Благие перемены во второй половине жизни — удел немногих. Те, с кем это происходит — либо раскаявшиеся разбойники, ставшие святыми (один мой знакомый, послушав Колину “Рождественскую”, так и сказал: “Это раскаявшийся разбойник Кудеяр”), либо герои, одержавшие победу над собой. В Коле было что-то и от святого (его своеобразная юродивость и глубокая вера последних лет), и от героя. Но, прежде всего, он был художником, проводником божественной музыки, каналом, через который Небо хотело нечто сообщить нам.

Коля Шипилов был одним из самых ярких впечатлений моей жизни, повлиявших и на мою судьбу, и на личность. Только после его смерти я осознал — это был один из лучших людей, кого я когда-либо встречал. Он очень сильно влиял на людей, сам того, наверное, не понимая. Речь даже не о том, что он многим в жизни помог. Просто в его присутствии острее понималось метафизическое существо нашей жизни. Коля был, в некотором смысле, воплощенная квинтэссенция русского начала. Не в том смысле, что его вершина, идеал — речь не об этом. Зато — сгусток. Концентрат. И это шло от него как электрический ток. Сам живя неустроенно и трудно, он обладал удивительным свойством стимулировать в других желание изменить, улучшить, преобразить жизнь — реализовать себя сполна! Пожалуй, самое главное, что я получил от общения с Николаем, это ощущение, что жизнь — великое чудо. Теперь для меня это так еще и потому, что в ней встречаются такие чудесные существа, как он. Вечная память тебе, дорогой Коля!

**Р. С.** Прошел почти год со смерти Николая, и я еще раз убедился в глубине его пророческого дара... Многие отмечали, что в песнях он, по сути, предсказал свой уход, вплоть до деталей. Особенно ярко это проявилось в сквозной теме осени в его творчестве: “Осень — мой приют, родина прощальная, осень мне жена, сестра, осень первый друг. Осенью уйду я в дорогу дальнюю, льдинкою хрустальною поутру”, “Подстерегла из-за угла, меня проткнула этой осени игла”. Лирический герой песни “Видели меня” вместе с дождиком “ночует ногами к сентябрю”. Осенью “из жизни уходит навек” поэт в песне про Творца и мецената. И герой песни “Забудь печали, говорят” слышит советы своих друзей, “вдруг осознав, что умер”, тоже осенью.

Николай относился к осени с почти религиозным чувством, любил ее до дрожи и с трепетом ожидал ее строгого взгляда: “И вот за все, наверно, спросит с меня неумолимо осень...” А в главной песне своей жизни “Никого не пощадила эта осень...” лирический герой умирает под шелест листьев, “разъезжающихся, как гости” в призрачном свете осеннего солнца, которое “не в ту сторону упало”. Это стихотворение датировано 1974 годом, а через тридцать два года 7 сентября 2006 года Николай ушел из жизни, и уход его действительно сопровождался реальным затмением...

Мне трудно сказать, в какой степени все написанное было ясным предчувствием своей судьбы, а в какой — так называемым самосбывающимся пророчеством — поэтическим заклинанием, которое при многократном повторении сработало и притянуло Колину смерть (вспомним любимого Шипиловым Николая Рубцова: “Я умру в крещенские морозы...”).

Но больше всего меня потрясли строчки Коли в одном из последних и самых лучших его стихотворений “Икона-вратарница”, написанном незадолго до смерти. Оно настолько хорошо, что приведу его полностью.

### ИКОНА-ВРАТАРНИЦА

*Неугасимо горит лампада в соборном храме!  
Ах, рассказать бы про все, как надо, умершей маме!  
В соборном храме Ксиропотама поют монахи.  
Поют монахи — ты слышишь, мама? — в священном страхе.*

*Паникадило и круглый хорос, орлы двуглавы...  
Неугасимо горит лампада, горит, качаясь...  
Когда то было? Младая поросль в зените славы  
С утра — ко храму, твердя молитву, в пути встречаясь.*

*Никто не ведал, никто не видел — плескалось масло,  
Оно плескалось, переливалось, не зная края.  
И следом — беды, как те акриды, и солнце гасло,  
И конь у прясла всё ждал хозяев, уздой играя.*

*Изогнут хорос, как знак вопроса, под гнетом мессы.  
Младую поросль секут покосы — играют бесы.  
О, как мы слепы, людское стадо! Но всяк ругает  
То — ясно солнце, то — сине море, вино ли, хлеб ли.  
Кто ж наделлет огнем лампаду? Кто возжигает?  
И снова масло краями льется — но все ослепли...*

*Поют монахи... Поют монахи... Коль слеп, так слушай.  
Запрись, дыханье, утишишь, сердце — Дух Свят здесь дышит.  
Святые горы, святые хоры, святые души  
Не слышит разум. Не слышит сердце. Ничто не слышит...*

*Горят усадьбы, как в пекле ада, — ребенок замер.  
Гуляют свадьбы. Плюются в небо — ребенок в двери.  
Ах, рассказать бы про все, как надо, умершей маме!  
Да на Афоне я сроду не был — кто мне поверит?  
Я был поэтом. Умру поэтом однажды в осень.  
И напишу я про все про это строк двадцать восемь...*

2003

Стихотворение состоит из 28 строк. Может показаться, что последние строчки “Я был поэтом. Умру поэтом однажды в осень. И напишу я про все про это строк двадцать восемь” — просто красивая рифма, а христианские образы, пронизывающие все стихотворение, — это всего лишь игра могучей фантазии поэта, который к тому же сам здесь признается, что “на Афоне я сроду не был”. Однако, как это почти всегда бывает у Шипилова, случайность несет в себе скрытую закономерность, которую он сам в момент написания стихотворения, естественно, не осознавал. Я понял это в сентябре 2007 года, когда был в Италии и посетил древнюю христианскую церковь в

Риме Сан-Джованни Латерано. Ее составной частью является рядом стоящее сооружение Санта-Санкториум ("Святая Святых"), где проходят наиболее значимые службы и хранится лестница из Иерусалима, по которой Спаситель поднимался к Понтию Пилату. Я был потрясен, когда узнал, что у этой лестницы было двадцать восемь мраморных ступеней. Они сохранились до сих пор. По этим ступеням современные паломники поднимаются на коленях, повторяя слова молитвы. Сам этот путь символизирует собой Голгофу, сужденную каждому человеку, всерьез исповедующему христианство, а число 28 в христианском мире считается символом пути на Голгофу.

Своя Голгофа есть у каждого подлинного поэта. Была она и у Шипилова, всю жизнь мучительно пробивавшегося к Свету. По свидетельству вдовы Николая Татьяны Шпиловой-Дашкевич, он, конечно, ничего не знал ни об этой лестнице, ни о мистическом числе, но сумел с точностью воплотить глубокую идею восхождения к Богу в стихотворении, подытожившем крестный путь поэта...